# На подводе

# Антон Павлович Чехов

В половине девятого утра выехали из города.

Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою радостью. Вот уж тринадцать лет, как она учительницей, и не сочтешь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима, — для нее было все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы доехать.

У нее было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно‑давно, лет сто, и казалось ей, что на всем пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога...

О том прошлом, какое было до ее поступления в учительницы, она уже отвыкла вспоминать — и почти все забыла. Когда‑то были у нее отец и мать; жили в Москве около Красных ворот, в большой квартире, но от всей этой жизни осталось в памяти что‑то смутное и расплывчатое, точно сон. Отец умер, когда ей было десять лет, потом скоро умерла мать... Был брат офицер, сначала переписывались, потом брат перестал отвечать на письма, отвык. От прежних вещей сохранилась только фотография матери, но от сырости в школе она потускнела, и теперь ничего не видно, кроме волос и бровей.

Когда отъехали версты три, старик Семен, который правил лошадью, обернулся и сказал:

— А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет слух, в Москве с немцами городского голову Алексеева убивал.

— Кто это тебе сказал?

— В трактире Ивана Ионова в газетах читали.

И опять замолчали надолго. Марья Васильевна думала о своей школе, о том, что скоро экзамен и она представит четырех мальчиков и одну девочку. И как раз, пока она думала об экзаменах, ее обогнал помещик Ханов, в коляске четверкой, тот самый, который в прошлом году экзаменовал у нее школу. Поравнявшись, он узнал ее и поклонился.

— Здравствуйте! — сказал он. — Домой изволите ехать?

Этот Ханов, мужчина лет сорока, с поношенным лицом и с вялым выражением, уже начинал заметно стареть, но все еще был красив и нравился женщинам. Он жил в своей большой усадьбе, один, нигде не служил, и про него говорили, что дома он ничего не делал, а только ходил из угла в угол и посвистывал или играл в шахматы со своим старым лакеем. Говорили про него также, что он много пил. В самом деле, в прошлом году на экзамене даже от бумаг, которые он привез с собой, пахло духами и вином. Тогда на нем все было новенькое, и Марье Васильевне он очень нравился, и, сидя рядом с ним, она все конфузилась. Она привыкла видеть у себя экзаменаторов холодных, рассудительных, а этот не помнил ни одной молитвы и не знал, о чем спрашивать, и был чрезвычайно вежлив и деликатен, и ставил одни пятерки.

— А я к Баквисту еду, — продолжал он, обращаясь к Марье Васильевне, — но, говорят, его нет дома?

С шоссе свернули на проселочную дорогу: Ханов впереди, Семен за ним. Четверка ехала по дороге, шагом, с напряжением вытаскивая из грязи тяжелый экипаж. Семен лавировал, объезжая дорогу, то по бугру, то по лугу, часто спрыгивая с телеги и помогая лошади. Марья Васильевна думала все о школе, о том, какая будет задача на экзамене — трудная или легкая. И ей было досадно на земскую управу, в которой она вчера никого не застала. Какие беспорядки! Вот уже два года, как она просит, чтобы уволили сторожа, который ничего не делает, грубит ей и бьет учеников, но ее никто не слушает. Председателя трудно застать в управе, а если застанешь, то он говорит со слезами на глазах, что ему некогда; инспектор бывает в школе раз в три года и ничего не смыслит в деле, так как раньше служил по акцизу и место инспектора получил по протекции; училищный совет собирается очень редко и неизвестно, где собирается; попечитель — малограмотный мужик, хозяин кожевенного заведения, неумен, груб и в большой дружбе со сторожем, — и бог знает, к кому обращаться с жалобами и за справками...

«Он в самом деле красив», — подумала она, взглянув на Ханова.

А дорога все хуже и хуже... Въехали в лес. Тут уж сворачивать негде, колеи глубокие, и в них льется и журчит вода. И колючие ветви бьют по лицу.

— Какова дорога? — спросил Ханов и засмеялся.

Учительница смотрела на него и не понимала: зачем этот чудак живет здесь? Что могут дать ему в этой глуши, в грязи, в скуке его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность? Он не получает никаких преимуществ от жизни и вот так же, как Семен, едет шагом, по отвратительной дороге, и терпит такие же неудобства. Зачем жить здесь, если есть возможность жить в Петербурге, за границей? И казалось бы, что стоит ему, богатому человеку, из этой дурной дороги сделать хорошую, чтобы не мучиться так и не видеть этого отчаяния, какое написано на лицах у кучера и Семена; но он только смеется, и, по‑видимому, для него все равно и лучшей жизни ему по нужно. Он добр, мягок, наивен, не понимает этой грубой жизни, не знает ее так же, как на экзамене не знал молитв. Жертвует он в школы одни только глобусы и искренно считает себя полезным человеком и видным деятелем по народному образованию. А кому нужны тут его глобусы!

— Держись, Васильевна! — сказал Семен.

Телега сильно накренилась — сейчас упадет; на ноги Марьи Васильевны навалилось что‑то тяжелое — это ее покупки. Крутой подъем на гору, по глине; тут в извилистых канавах текут с шумом ручьи, вода точно изгрызла дорогу — и уж как тут ехать! Лошади храпят. Ханов вылез из коляски и идет по краю дороги в своем длинном пальто. Ему жарко.

— Какова дорога? — сказал он опять и засмеялся. Этак экипаж сломать недолго.

— А кто ж вам велит в такую погоду ездить! — проговорил Семен сурово. — И сидели бы дома.

— Дома, дед, скучно. Я не люблю дома сидеть.

Около старого Семена он казался стройным, бодрым, но в походке его было что‑то такое, едва заметное, что выдавало в нем существо уже отравленное, слабое, близкое к гибели. И точно в лесу вдруг запахло вином. Марье Васильевне стало страшно и стало жаль этого человека, погибающего неизвестно для чего и почему, и ей пришло на мысль, что если бы она была его женой или сестрой, то всю свою жизнь, кажется, отдала бы за то, чтобы спасти его от гибели. Быть женой? Жизнь устроена так, что вот он живет у себя в большой усадьбе один, она живет в глухой деревне одна, но почему‑то даже мысль о том, что он и она могли бы быть близки и равны, кажется невозможной, нелепой. В сущности вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце.

«И непонятно, — думала она, — зачем красоту, эту приветливость, грустные, милые глаза бог дает слабым, несчастным, бесполезным людям, зачем они так нравятся».

— Здесь нам поворачивать вправо, — сказал Ханов, садясь в коляску. — Прощайте! Всего хорошего!

И опять она думала о своих учениках, об экзамене, о стороже, об училищном совете; и когда ветер доносил справа шум удалявшейся коляски, то эти мысли мешались с другими. Хотелось думать о красивых глазах, о любви, о том счастье, какого никогда не будет...

Быть женой? Утром холодно, топить печи некому, сторож ушел куда‑то; ученики поприходили чуть свет, нанесли снегу и грязи, шумят; все так неудобно, неуютно. Квартира из одной комнатки, тут же и кухня. После занятий каждый день болит голова, после обеда жжет под сердцем. Нужно собирать с учеников деньги на дрова, на сторожа и отдавать их попечителю, и потом умолять его, этого сытого, наглого мужика, чтобы он, ради бога, прислал дров. А ночью снятся экзамены, мужики, сугробы. И от такой жизни она постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцом, и всего она боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается сесть, и когда говорит про кого‑нибудь из них, то выражается почтительно «они». И никому она не нравится и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского участия, без интересных знакомых. В ее положении какой бы это был ужас, если бы она влюбилась!

— Держись, Васильевна!

Опять крутой подъем на гору...

В учительницы она пошла из нужды, не чувствуя никакого призвания; и никогда она не думала о призвании, о пользе просвещения, и всегда ей казалось, что самое главное в ее деле не ученики и не просвещение, а экзамены. И когда тут думать о призвании, о пользе просвещения? Учителя, небогатые врачи, фельдшера при громадном труде не имеют даже утешения думать, что они служат идее, народу, так как все время голова бывает набита мыслями о куске хлеба, о дровах, плохих дорогах, болезнях. Жизнь трудная, неинтересная, и выносили ее подолгу только молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны; те же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своем призвании, об идейном служении, скоро утомлялись и бросали дело.

Семен выбирал, как бы проехать посуше и поближе, где лугом, где задами; но там, гляди, мужики не пускают, там попова земля, нет проезда, там Иван Ионов купил у барина участок и окопал его канавой. То и дело поворачивали назад.

Приехали в Нижнее Городище. Около трактира, на унавоженной земле, под которой был еще снег, стояли подводы: везли большие бутыли с купоросным маслом. В трактире было много народа, всё извозчики, и пахло тут водкой, табаком и овчиной. Шел громкий разговор, хлопали дверью на блоке. За стеной в лавочке, не умолкая ни на минуту, играли на гармонике. Марья Васильевна сидела и пила чай, а за соседним столом мужики, распаренные чаем и трактирной духотой, пили водку и пиво.

— Слышь, Кузьма! — раздавались беспорядочно голоса. — Чего там! Господи благослови! Иван Дементьич, я это тебе могу! Сват, гляди!

Мужик маленького роста, с черной бородкой, рябой, уже давно пьяный, вдруг удивился чему‑то и нехорошо выбранился.

— Чего ругаешься там? Ты! — отозвался сердито Семен, сидевший далеко в стороне. — Нешто не видишь: барышня!

— Барышня... — передразнил кто‑то в другом углу.

— Ворона свинячая!

— Мы ничего... — сконфузился маленький мужик. — Извините. Мы, стало быть, за свои деньги, а барышня за свои... Здравствуйте!

— Здравствуй, — ответила учительница.

— И чувствительно вас благодарим.

Марья Васильевна пила чай с удовольствием и сама становилась красной, как мужики, и думала опять о дровах, о стороже...

— Сват, погоди! — доносилось с соседнего стола. — Учительша из Вязовья... знаем! Барышня хорошая.

— Порядочная!

Дверь на блоке все хлопала, одни входили, другие выходили. Марья Васильевна сидела и думала все про то же, а гармоника за стеной все играла и играла. Солнечные пятна были на полу, потом перешли на прилавок, на стену и совсем исчезли; значит, солнце уже склонилось за полдень. Мужики за соседним столом стали собираться в путь. Маленький мужик, слегка пошатываясь, подошел к Марья Васильевне и подал ей руку; глядя на него, и другие тоже подали руку на прощанье и вышли один за другим, и дверь на блоке провизжала и хлопнула девять раз.

— Васильевна, собирайся! — окликнул Семен.

Поехали. И опять все шагом.

— Недавнушко школу строили тут, в ихнем Нижнем Городище, — сказал Семен, оборачиваясь. — Греха‑то что было!

— А что?

— Будто председатель себе в карман тысячу, и попечитель тоже тысячу, и учитель пятьсот.

— Вся‑то школа стоит тысячу. Нехорошо на людей клеветать, дед. Это все вздор.

— Я не знаю... Что народ, то и я.

Но было ясно, что Семен не верил учительнице. Ей крестьяне не верили; они всегда так думали, что она получает слишком большое жалованье — двадцать один рубль в месяц (было бы довольно и пяти), и что из тех денег, которые она собирала с учеников на дрова и на сторожа, большую часть она оставляла себе. Попечитель думал так же, как все мужики, и сам кое‑что наживал с дров и за свое попечительство получал с мужиков жалованье, тайно от начальства.

Лес, слава богу, кончился, и теперь до самого Вязовья будет ровное поле. И осталось уже немного: переехать реку, потом железнодорожную линию, а там и Вязовье.

— Куда же ты едешь? — спросила Марья Васильевна у Семена. — Поезжай правой дорогой, на мост.

— Чего? И тут проедем. Глыбина, не очень чтоб.

— Смотри, как бы нам лошадь не утопить.

— Чего?

— Вот и Ханов поехал на мост, — сказала Марья Васильевна, увидев далеко вправо четверку. — Это, кажется, он едет?

— О‑он. Должно, не застал Баквиста. Экой дуролом, господи помилуй, туда поехал, и зачем, тут на цельных три версты ближе.

Подъехали к реке. Летом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу, теперь же, после половодья, это была река саженей в шесть ширины, быстрая, мутная, холодная; на берегу и у самой воды видны были свежие колеи — значит, здесь проезжали.

— Вперед! — крикнул Семен сердито и с тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, как птица крыльями. — Вперед!

Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод.

— Вперед! — закричала и она, поднимаясь. — Вперед! Выехали на берег.

— И что оно такое, это самое, господи, — бормотал Семен, поправляя сбрую. — Чистое наказание с эстим земством...

Калоши и башмаки были полны воды, низ платья и шубки и один рукав были мокры, и текло с них; сахар и мука оказались подмоченными — и это было обиднее всего, и с отчаяния Марья Васильевна только всплескивала руками и говорила:

— Ах, Семен, Семен!.. Какой же ты, право!..

На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум: со станции шел курьерский поезд. Марья Васильевна стояла у переезда и ждала, когда он пройдет, и дрожала всем телом от холода. Было уже видно Вязовье — и школу с зеленой крышей, и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце; и окна на станции тоже горели, и из локомотива шел розовый дым... И ей казалось, что все дрожит от холода.

Вот он — поезд; окна отливали ярким светом, как кресты на церкви, больно было смотреть. На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой:

— Мама!

И заплакала, неизвестно отчего. В это время как раз подъезжал на четверке Ханов, и она, видя его, вообразила счастье, какого никогда не было, и улыбалась, кивала ему головой, как равная и близкая, и казалось ей, что и на небе, и всюду в окнах, и на деревьях светится ее счастье, ее торжество. Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжелый, странный сон, а теперь она проснулась...

— Васильевна, садись!

И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу. Четверка переехала линию, за ней Семен. Сторож на переезде снял шапку.

— А вот и Вязовье. Приехали.